

Это история любви между двумя юношами. Ся Дун — утонченный и замкнутый юноша, который в детстве случайно нашел дома дневник без конца. С тех пор события, описанные в этом таинственном дневнике, словно стали намекать на судьбу самого Ся Дуна, вынуждая его сопротивляться, но в то же время не позволяя вырваться из плена этого влияния. Позже Ся Дун увез дневник с собой, пересек океан и обосновался в Америке. Там, на фоне тяжелой и извилистой жизни скитальца, начала разворачиваться его настоящая, трогательная, но запутанная история любви. Так какая же связь существует между этим дневником и Ся Дуном? Чем закончится дневник? И какая необычная любовь ждет Ся Дуна впереди?

Моя фамилия Ся, но родился я зимой, поэтому меня называли Ся Дун. Я люблю горы. Мне нравится взбираться на возвышенности. И дело не только в том, что с высоты можно разглядеть дали — в конце концов, из самолета видно гораздо дальше. Мне нравится само это чувство: когда перед глазами расстилается бескрайний простор, и достаточно сделать лишь легкий шаг, чтобы без всяких преград сорваться вниз. Только в такие моменты я обретаю подлинную свободу: идти или лететь, жить или умереть — я сам выбираю свою судьбу.

В раннем детстве я забирался на перила нашего балкона, пытался раскинуть руки и, запрокинув голову, изо всех сил вдыхал воздух. Хотя наш балкон находился всего на третьем этаже, в ту пору перед домом еще не пролегла шумная Вторая кольцевая дорога, не возвышались один за другим небоскребы. Тогда берега крепостного рва были поросли дикой травой и колючим кустарником, а летними вечерами можно было оглохнуть от кваканья лягушек. Тогда небо над Пекином было невероятно синим.

Ссоры родителей за моей спиной внезапно обрывались, переходя в испуганные возгласы. Я позволял им стянуть себя с перил, в последний раз бросая взгляд на окутанную дымкой древнюю Пекинскую обсерваторию вдалеке и медленно проезжающие под ней поезда. Я спокойно ждал, пока отцовская ладонь опустится на мои ягодицы — звук был громким, но не очень-то больно. В конце концов настал день, когда я долго стоял на перилах, а родители, увлеченные ссорой, никто меня не замечал. В тот раз я сам слез с перил. На следующее утро мать ушла из дома навсегда. Проснувшись, я увидел отца, который в одиночестве сидел на краю моей кровати и тяжело вздыхал. В тот день я выплакал столько слез, что наволочка промокла насквозь.

На самом деле я никогда не видел, как именно мать уходила, но в глубине души упорно жил один образ: я сижу на ступеньках у подъезда, смотрю вслед матери и горько плачу, а она, услышав мой плач, оборачивается, машет мне рукой, но не останавливается. С тех пор в моей жизни на долгое время остался только отец, и он больше никогда меня не бил. С тех пор я не раз снова забирался на балконные перила, но он меня больше не замечал.

Когда я учился в первом классе, я тяжело заболел, или, вернее будет сказать, начал тяжело болеть. Взрослые называли это миокардитом. Отец из-за этого пребывал в постоянной тревоге, пока я не повзрослел, но сам я не помнил каких-то особенных болей или недомоганий. Помнил лишь, что внезапно перестал справляться со сверстниками. Они без труда прижимали меня к земле, отбирая мой игрушечный автомат или пластмассовый меч. Я пытался броситься в погоню, но они всегда убегали все дальше, а мне становилось все труднее дышать, пока перед глазами не начинало плыть белое море.

После того как я заболел, я стал ходить в школу всего два дня в неделю. По дороге на занятия или домой я сидел на багажнике отцовского велосипеда, держась за край его куртки или крепко вцепившись в поручень под сиденьем. Одноклассники, заметив это издали, тут же бежали жаловаться классному руководителю, мол, отец Ся Дуна возит людей на велосипеде, нарушая правила. И тогда я возненавидел школу, предпочитая прятаться дома. Лишь в средней школе, когда у меня появился собственный велосипед марки Юнцзю, я постепенно забыл о страхе перед школой.

В годы учебы в начальной школе большую часть времени я проводил дома один. Уходя на работу, отец запирает дверь на ключ, и я не мог спуститься вниз, чтобы присоединиться к играм или мальчишеским войнам, поэтому мне оставалось лишь бродить по квартире. Возможно, именно из-за того, что в тот период я был слишком заперт в четырех стенах, годы спустя, когда я вновь обрел свободу, я стал без разбора принимать всех, кто готов был меня принять. Цена, которую мне пришлось за это заплатить, оказалась невыносимой.

Бродя по дому, я облазил каждый уголок. Это был дом для сотрудников, построенный в начале шестидесятых, и к тем временам, что я помнил, за десяток лет он заметно обветшал. Особенно туалет и кухня. Местами штукатурка отслоилась, а в углах в ограниченном пространстве скапливалась бесконечная гора ненужного хлама. Это была моя детская игровая площадка. Я исследовал и временно хранил под кроватью каждую вещь, которую удавалось туда перетащить: будь то треснувшая деревянная рама, ржавые спицы для вязания, погнутая велосипедная спица или залатанная велосипедная камера. Обычно эти вещи задерживались под кроватью на несколько недель или месяцев, а потом бесследно исчезали.

Однако один предмет заслужил мое долгое и особое внимание. Это был чрезвычайно потрепанный дневник, на обложке которого был изображен «маленький красный страж» с сияющими глазами, сжимающий в руках Цитатник. Я спрятал его под матрасом, со стороны подушки. С тех пор как родители развелись, я всегда сам следил за своей постелью, поэтому прошло много лет — я успел вырасти и уехать из дома в университет, — а отец так и не обнаружил его.

С самого первого взгляда на этот дневник я заподозрил, что он не принадлежал нашей семье. Именно благодаря окутывавшей его тайне я влюбился в него с первого взгляда. Этот блокнот не был изящным, он сильно уступал модным в те времена тетрадям в пластиковых обложках с картинками пейзажей или портретами знаменитостей, к тому же последние страницы вместе с задней обложкой были вырваны. Но я все равно бережно хранил его — хранил долгие, долгие годы. Наверное, меня привлекли этот аккуратный и красивый почерк. Тогда я с трудом разбирал лишь пару слов. Но это было неважно. Я восхищался этими буквами из-за их внешнего вида, а не из-за истинного смысла. Очертания этих знаков оказали на меня столь решающее влияние, что в конце концов мой собственный почерк стал точной копией почерка из этой тетради. Однажды одноклассник случайно заметил ее, открыл и принял за мой личный дневник. На самом деле в этом не было ничего удивительного, ведь дождливыми ночами, когда отключали свет, стук капель за окном и мерцающий свет свечи на столе часто заставляли меня сомневаться: действительно ли эти строки написал я сам? Наверное, все дело в том, что в раннем детстве бабушка — добрая и суеверная старушка — рассказывала мне слишком много историй о прошлых и будущих жизнях, и я отчасти унаследовал ее суеверия. То, что западает в душу в раннем возрасте, сколько бы ни противоречало этому теорий ни узнал человек, повзрослев, все равно способно притаиться в каком-нибудь уголке сердца и незаметно высо-

наружу, чтобы заявить о себе. Хозяйку этого дневника, судя по всему, звали А Лань, потому что остальные персонажи на страницах обращались к ней именно так. Когда я нашел по словарю произношение иероглифа «лань», то понял, что это женский дневник, и испытал такое разочарование, что чуть было его не выбросил. Мальчишки в том возрасте, кажется, интересуются только историями о мужчинах, а к женским судьбам относятся с презрением. Разочаровавшись в дневнике, я вскоре отыскал в куче хлама новую забаву — целую стопку вырезок из бумаги, которые моя мать давным-давно сделала своими руками к какому-то Празднику весны. А эта тетрадь как раз сгодилась на роль коробочки для их хранения. Разумеется, к вырезкам я тоже быстро потерял интерес, и дневник вместе с ними благополучно забылся под матрасом. Когда я учился в седьмом классе, я впервые в жизни принял участие в новогоднем утреннике, организованном классом. Моему энтузиазму не было предела. Я вспомнил мамины вырезки и захотел повторить их в точности. Мамины узоры были изящными, повторить их мне, конечно, не удалось, но зато я случайно снова раскопал тот дневник. На этот раз я прочел его залпом, ведь незнакомых иероглифов почти не осталось. На самом деле до конца я его так и не дочитал: последние страницы были вырваны, так что финала этой истории я так и не узнал. Спустя столько лет я всё придумывал для нее концовку и понял, что найти по-настоящему удовлетворяющую меня — задача почти невыполнимая. Судя по записям, А Лань в то время как раз училась в средней школе, и в ту эпоху лучшей карьерой для молодежи казалось звание хунвэйбина. Однако ей путь туда был заказан, ведь ее родители были капиталистами, антипартийными и антинародными элементами из черной пятерки. Когда я читал, как А Лань бросилась на хунвэйбинов, подвергавших ее отца публичной борьбе и осуждению, мне на мгновение показалось, что А Лань — мальчик. Но стоило прочесть о том, как она сжалась в комочек и плакала в темной коморке полицейского участка, как я вновь уверился, что она непременно девочка. Догадки о поле А Лань стоили мне немалых раздумий. Позже А Лань встретила Хуя, молодого и красивого сотрудника милиции. В этот момент я окончательно уверился, что А Лань — девушка, потому что глубокий взгляд Хуя, его стройная и крепкая фигура, а также ладно скроенная форменная одежда — всё это заставляло сердце А Лань биться чаще, а щеки — алеть от смущения. А Лань тайком влюбилась в Хуя, и Хуй, судя по всему, тоже отвечал ей взаимностью: по ночам он украдкой носил ей еду, а позже и вовсе рискнул тайно отпустить ее на свободу. Но А Лань не была уверена в Хуе до конца. Она подозревала, что у него уже есть девушка. А Лань случайно заметила это, когда нарочно проходила мимо дверей участка. Ту девушку звали Мэй, а дальше... в этом месте я уже не всё до конца понимал. К сожалению, это был всего лишь дневник, а не полноценный роман, поэтому автор потратил немало сил на описание собственных внутренних переживаний, но так и не высказал прямо ни причин, ни следствий. Мне оставалось лишь беспрерывно гадать. А Лань словно всё сильнее влюблялась в Хуя, но всё больше боялась с ним видаться. Думаю, дело было в Мэй? Раз так, значит, Хуй определенно любил Мэй гораздо сильнее. Мне было безумно жаль А Лань: почему она не могла смело посмотреть Хуя в глаза? Почему не стремилась бороться за свое счастье? Кто знает, может быть, ради А Лань Хуй даже бросил бы Мэй? Тогда я еще не умел задумываться о вопросах морали и общественного мнения, поэтому безоговорочно встал на сторону А Лань. Наконец А Лань и Хуй снова случайно встретились. После этого они многое сделали вместе: например, гуляли в Парке Цзичжунань под моросящим дождем или бродили вдоль Проспекта Чанъаньцзе холодной зимней ночью. В дневнике А Лань по-прежнему не верила в себя ни на йоту. Но к этому моменту я уже твердо знал: Хуй тоже любит А Лань. Я никак не мог взять в толк, из-за чего же они так мучаются? По моему разумению, раз двое искренне любят друг друга, любые другие проблемы перестают иметь хоть какое-то значение. Однако Хуй неизменно прятал А Лань в тени Мэй. И что поразительно, А Лань не выражала по этому поводу ни малейшего недовольства. Тогда я искренне верил, что любовь бывает лишь исключительной и всемогущей. Сначала я грешил на то, что Хуй ведет двойную игру из-за плохого происхождения А Лань, к тому же А Лань упоминала, что Мэй — дочь начальника управления общественной безопасности. В моих глазах

образ Хуя от этого сильно потускнел. Но позже многие детали заставили меня заподозрить, что за всем этим кроется куда более серьезная, невысказанная тайна. С багажом знаний и воображением семиклассника я никак не мог углубиться в эти хитросплетения. Тем не менее я остался верен своей позиции — я по-прежнему желал, чтобы А Лань и Хуй были вместе.

Мое замешательство лишь ускорило темп чтения. Как я и надеялся, в одну ненастную ночь, когда Хуй обнаружил на пороге своего дома промокшую до нитки А Лань, которая поджидала его там, он завел ее внутрь и признался в любви. Хуй поцеловал А Лань. Дальше шла строка точек. Я не знал, что именно должен был означать этот много». Глядя на него, я невольно покраснел, но на душе у меня было легко и приятно. Однако это чувство длилось недолго и быстро сменилось еще более глубоким недоумением, ведь Хуй так и не порвал с Мэй, а он и А Лань продолжали жить во тьме. Описание жилища Хуя вызвало у меня такой жгучий интерес, что я на время забыл обо всех вопросах. Планировка квартиры и вид из окна точь-в-точь повторяли мой собственный дом, только вот описываемые комнаты были аккуратными и чистыми, тогда как мое жилище в воспоминаниях всегда оставалось ветхим и захлавленным. В дневнике ни слова не говорилось о том, как Хуй обзавелся этой квартирой. Этот вопрос одно время не давал мне покоя, когда я уже учился в университете: те несколько лет я никак не мог привыкнуть к шумевшему на шесть человек общежитию и втайне мечтал заполучить собственное жилье, совсем как Хуй. Позже А Лань слегла. Судя по тому, что почерк становился всё более неразборчивым, она тяжело больна. А Лань словно почувствовала, что дни ее сочтены: она подслушала разговор врача с Хуем, но не стала записывать в дневник то, что ей удалось услышать. На этом дневник обрывался. Неизвестно, было ли на вырванных страницах что-то похожее на развязку, а может быть, А Лань уже настолько ослабла от болезни, что не могла продолжать писать, и вырванные листы изначально были пустыми. И тогда я снова забросил этот дневник на старое место. Когда я вспомнил о нем вновь, я уже учился в первом классе старшей школы. Той зимой я познакомился с Лю Вэем. Он был учеником по обмену и сидел со мной за соседней партой.

Когда я только познакомился с Вэем, он не вызывал у меня ни малейшей симпатии. Кожа у него была смуглой, скулы — запавшими, черты лица казались резкими и угловатыми, а густые брови росли совсем близко к глазам. По тем моим меркам, все эти приметы словно бы кричали о том, что перед тобой уличный хулиган. Я немного его побаивался. Учился Вэй хуже меня, и мои домашние задания естественным образом привлекли его внимание. Я не желал делиться с ним тетрадами. Я наотрез отказывался от уроков физкультуры и не участвовал в большинстве общих мероприятий, так что успеваемость оставалась моей единственной гордостью. Тогда он прибегнул к силе. Мои пальцы неизменно ныли от его хватки. Хотя Вэй и был худым, сил у него оказалось куда больше, чем у меня. Впрочем, удивляться не стоило: с самого первого класса моя физическая сила уступала показателям сверстников-мальчишек, чего уж говорить о Вэе, который был старше меня на целый год. Если честно, в моих воспоминаниях он казался намного старше — и уж точно не на один год. В тот год, когда мы познакомились, мой голос всё еще оставался чистым и высоким, а у него уже окреп глубокий, бархатный баритон. От его сжатий на моих глазах выступали слезы. Он брал мою руку и легонько дул на нее, изображая крайнюю сосредоточенность, но при этом украдкой косился, сержусь ли я по-настоящему. Я заметил, что глаза у него черные и яркие. При взрослом, зрелом выражении лица у него была улыбка абсолютно невинного ребенка. Он ведь и сам был еще ребенком, всего на год старше меня. И хотя это он подглядывал за мной, прятался от взглядов почему-то я, точно воришка. Он вдруг тихо произнес: — Ты до жути бледный. И глаза огромные. И ресницы длинные. И рука такая мягкая. Ты часом не девчонка, переодетая мальчишкой? Он говорил нарочито сосредоточенно, пуская в ход свой глубокий и бархатный голос. Мои щеки мгновенно запылали. Дом Вэя находился совсем рядом с моим, поэтому мы часто сталкивались по дороге

в школу или обратно. Он ездил на мужском велосипеде марки Феникс модели 28, который казался куда выше и внушительнее моего Первомая модели 26, хотя сам Вэй был на два сантиметра ниже меня. На нем красовался темно-синий пуховик, а руки защищали черные кожаные перчатки; волосы у него были длинными, почти полностью закрывая уши; он вечно носил темно-синие брюки из терилена — как раз по фигуре, ни убавить, ни прибавить. Я подозревал, что он вообще не носит кальсоны, потому что во время езды на велосипеде эти гладкие темно-синие брюки всегда отчетливо обтягивали рельефные мышцы на его ягодицах и бедрах. По сравнению с ним мои широкие штаны, натянутые поверх рейтуз, казались донельзя бесформенными и уродливыми. Тогда я тайком стянул рейтузы. И заболел, поднялась температура. Казалось, в те времена подхватить жар было проще простого, да и переносился он в воспоминаниях совсем не так мучительно, как сейчас — быть может, время отфильтровало все неприятные ощущения, оставив лишь теплое солнце, пробивавшееся сквозь оконное стекло зимним днем, дымящийся суп с лапшой и мясом да радость от того, что лежишь себе под одеялом и слушаешь по радио многосерийные сказки-повествования, пока остальные учатся. Вэй неожиданно заглянул ко мне, притаив ворох школьных новостей и те самые засахаренные сливы, купленные на сэкономленные с обедов деньги. Он уселся у кровати спиной к свету, и от этого его взгляд показался мне еще более глубоким. Он взял меня за руку, но сжимал уже не так крепко, как обычно. Обычно его ладони всегда пылали жаром, и лишь в этот раз они показались непривычно холодными. Он вложил мне в рот сливу, и я уловил исходящий от его пальцев легкий аромат табачного дыма — точно такой же запах источала его одежда. Тогда я был твердо уверен, что подобные запахи — верный признак дурного человека, но стоило мне ощутить его на кончиках пальцев Вэя, как я не почувствовал ни малейшего отвращения, скорее даже захотелось вдохнуть этот запах еще раз. Я тут же свалил все эти странности на повышенную температуру — подскочит у человека жар, чего доброго, начнется умопомешательство. Не стоит брать это в голову. Когда я поправился, мы снова начали ходить в школу и обратно вместе. Думаю, я и впрямь был человеком без каких-либо принципов. Ведь когда я впервые встретил Вэя, он не вызывал во мне симпатии, но стоило ему протянуть мне руку, как я с легкостью его принял. После занятий мы не спешили домой, а колесили на велосипедах везде, куда только успевали добраться до наступления темноты. Позже мы стали ездить, держась за руки. Наконец в один прекрасный день перед воротами Парка Таорантин наши велосипеды сцепились колесами. Я успел отпрыгнуть, а он рухнул прямо под груды металла. Быть может, всё дело было в огромном велосипеде двадцать восьмой модели, ведь его собственная реакция всегда была куда быстрее моей. Я стоял в растерянности, а он поднялся сам, с ног до головы перепачканный в грязи. Я принялся стряхивать пыль — сначала с пуховика, потом с брюк. На сей раз я окончательно убедился, что кальсон на нем нет: сквозь гладкую ткань темно-синего терилена мои ладони явственно ощущали его горячее тело. В том происшествии он повредил плечо, и оно ныло несколько недель подряд. С тех пор каждый день после школы я массировал ему руку в небольшом парке у дороги. Он жаловался, что у меня слишком слабые пальцы, и тогда я налегал изо всех сил — Вэй тут же морщился от боли, запрокидывая голову, и на его крепкой шее ходуном ходил резко выступающий кадык. Не удержавшись, я протянул руку, чтобы коснуться его острых граней; он со смехом втянул голову в плечи, и на щеках залегли глубокие складки.

Поверх этих складок я снова увидел ту самую детскую улыбку. Я отдернул руку, и Вэй постепенно перестал улыбаться. Когда лицо оставалось серьезным, оно казалось по-взрослому зрелым и глубоким. Мне снова показалось, что он старше меня больше чем на год, ведь в ту пору мой собственный кадык был едва заметен — на глаз его не разглядеть, приходилось нащупывать пальцами. Его плечо полностью зажило, а погода заметно потеплела. Темно-синий пуховик на нем сменился курткой из синей синтетики, а та — нежно-голубой рубашкой, но легкий табачный шлейф оставался прежним. Я постепенно привык к этому запаху, привык

настолько, что он стал мне дорог, точно так же, как в детстве запах маминого тела. На самом деле к тому моменту я давно должен был позабыть, чем пахла мать, но упрямо цеплялся за мысль, что это был аромат выстиранного и высушенного на солнце постельного белья вперемешку с мылом Lux. Если поразмыслить логически, мама просто не могла так пахнуть, ведь в те годы, когда она ушла, мыло Lux в Китае еще нельзя было достать. Летними вечерами Вэй частенько поднимался со мной на крышу нашего дома, чтобы переждать духоту. Там гулял сильный ветер, открывался широкий обзор, но людей почти не бывало. Иногда выдавались и безветренные вечера: косые лучи заката заливали крышу, а поскольку укрыться от них было негде, становилось только духотнее. Тогда он без лишних слов сдергивал рубашку и садился прямо на бетонные плиты. Майки на нем не было, так что грудь и спина оставались полностью обнаженными. Кожа у него была такой же смуглой, чуть ли не глянцевой — наверное, из-за тонкой испарины. Худым он и правда был на зависть. Когда он сидел, его тонкий живот собирался в несколько едва заметных складочек, казалось, ущипни легонько пальцами — и поднимешь вверх. Посидев так немного, он снова поднимался на ноги — вероятно, оттого, что бетон за целый день раскалялся на солнце. Стоя ко мне спиной, он любовался величественным Залом Молитвы об Урожае в Храме Неба вдали. Мускулатура у него была не то чтобы очень развитой, что шло вразрез с впечатлениями, которые оставались от массажа через одежду. Но плечи у него оказались широкими, дельтовидные мышцы на вершинах рук — округлыми, а из-под темно-синих териленовых брюк проступали узкие, подтянутые ягодицы, так что вся фигура в целом выглядела невероятно гармоничной. Внизу живота у меня вдруг защекотало. Меня охватило легкое смятение, я торопливо отвернулся, вглядываясь в даль, где темнел старинный Пекинский планетарий. Этот ракурс точь-в-точь совпадал с видом, открывавшимся с нашего балкона. Я сделал шаг к самому краю крыши. Никаких переиц здесь не было, и я широко раскинул руки.

<http://bllate.org/book/21154/2144362>